

А. И. Куприн

Жанета

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
К92

Куприн А.И.

К92 Жанета / А. И. Куприн – М.: Книга по Требованию, 2012. – 56 с.

ISBN 978-5-458-03912-3

Куприн Александр Иванович. Происходил из небогатой дворянской семьи, окончил Александровское военное училище в Москве. Д 1890–1894 служил в полку, расположенном в Подольской губернии. Как писатель дебютировал еще в училище, опубликовал несколько рассказов и повесть Впотьмах (1893). Был репортером киевских и одесских газет, выпустил в 1897 сборник Миниатюры, печатался в столичных журналах "Русское богатство", "Мир Божий", "Жизнь искусства" и других. Успех пришел к Куприну после появления повести "Молох" (1896). Его славу упрочили первый том Рассказов (1903) и особенно повесть Поединок (1905). В 1907-19 годах выходят повести и рассказы. В рассказах "Гамбринус" (1907), "Гранатовый браслет" (1911). В 1919 году Куприн эмигрирует в Париж. Умер Куприн в Гатчине 25 августа 1938, похоронен на мемориальном кладбище «Литераторские мостки» (Санкт-Петербург).

ISBN 978-5-458-03912-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Александр Иванович Куприн

Жанета

I

В юго-западном углу Парижа, в зеленом нарядном Passy, в двух шагах от Булонского леса (стоит только перейти по воздушному мостику над полотном окружной железной дороги), на самом верху шестиэтажного дома живет старый русский профессор. Чердачная мансарда его длинна и узка; к дверям – немного пошире; потолком ей служит покатая крыша дома; в общем, она, по мнению ее обитателя, похожа видом и размером на гроб Святогора, старшего богатыря. Единственное ее окно сидит глубоко в железном козырьке.

Профессор Симонов живет с простотою инок. Вся его мебель: раскладная парусиновая кровать военного образца, деревянный некрашенный стол, две такие же табуретки, умывальник с кувшином и ведром и старозаветный чемодан, весь испещренный разноцветными путевыми ярлыками. Стены оклеены отвратительнейшими обоями в синие и желтые полосы; когда на них глядишь, то скашиваются глаза и кружится голова.

Профессор сам готовит для себя на спиртовке спартанские кушанья и кипятит чай, сам прибирает комнату, сам чистит платье и сапоги.

Но человек не может жить без роскоши (кроме изуверов и идиотов), и в этом, по мнению профессора, одно из важных отличий его от всех животных, за исключением некоторых диких птиц, чудесно украшающих свои гнезда. На подоконнике, в больших деревянных ящиках, всегда растут редкие яркие цветы. Он за ними внимательно ухаживает. Иногда можно застать его в те минуты, когда он тонкой кисточкой, бережно, как художник-миниатюрист, переносит желтую цветочную пыльцу из чашечки одного цветка в чашечку другого. Вид у него при этом сосредоточенный, губы вытянуты в трубочку, глаза сощурены в щелочки под косматыми рыжими бровями.

Он давно примелькался и хорошо известен в своем небольшом районе, ограниченном лавками: мясной, молочной, бакалейной, табачной, булочной и тем угловым бистро¹ мадам Бюссак, куда он изредка заходит выпить у блестящего жестяного прилавка стаканчик вермута пополам с водой. Все еще издали узнают его длинную худую фигуру, его развевающуюся на ходу серую клетчатую размахайку, носившую когда-то, в древние времена, название не то макфарлана,

не то пальмерстона, его рыбачью широкую шляпу, наsunутую так низко на брови, что из ее спущенных вокруг полей торчат спереди лишь конец крупного мясистого носа и огненная с сединой борода утюгом.

Прежде французские лавочники раздражались на профессора за его рассеянность, разводили руками, хлопали себя по бедрам, кричали свое нетерпеливое «alors!»² и вообще пылили, но теперь по привыкли и благодушно поправляют его, когда он забудет взять сдачу, заберет чужой сверток вместо своего или собирается уходить, не заплативши, – с ним такие мелкие ошибки случаются десять раз на дню. Он приятен тем, что в его обращении с людьми много независимости, легкости и доброго внимания. Совсем в нем отсутствуют те внешние черты унылости, удрученности, роковой подавленности, безысходности, непонятости миром – словом, всего того, что французы считают выражением «ам сляв»³ и к чему их энергичный инстинкт относится брезгливо.

Профессор входит в лавку. Левую руку протягивает через стойку хозяину для пожатия, правой издали посылает приветствие хозяйке и бодро здоровается со всеми присутствующими:

– Мсье, да-ам!..

– Мсье! – произносит несколько голосов из-за газет.

Порядок непременно требует справиться у патрона: идет ли? Оказывается – идет. Теперь профессору нужно сделать самое неожиданное открытие:

– Но какой прекрасный день!

Или:

– Ах, какой дождь!

– О да! – убедительно подтверждает патрон и, в свою очередь, с неизменной улыбкой осведомляется у Симонова: – Тужур промнэ?⁴

Вот этого-то профессорского «тужур промнэ» французы никак не могут осмыслить, несмотря на всю их любезность к Симонову. Как это он позволяет себе прогуливаться и, по-видимому, совсем праздно – в часы, вовсе не приспособленные для прогулки. Каждый порядочный француз – а они все порядочны – отлично знает, что гулять можно только по воскресеньям. Поэтому в будни они если не сидят в своих лавках и бюро, то либо бегут в них, либо возвращаются бегом домой. В семь часов утра весь работающий Париж плескает себе в нос воду из умывального таза, в десять часов вечера каждый честный буржуа уже в постели.

Профессор же спует по улицам без всяких почтенных причин и утром, и днем, и поздно ночью. Это удивительно. Все-таки – ам сляв.

Профессор и сам понимал, что это удивительно. И чувствовал какую-то неловкость перед французами, чувствовал себя трутнем среди трудолюбивых пчел. Но как же мог он объяснить и оправдать свое уличное слоняние?

Сказать, что у него три урока в трех разных домах. Но французы совсем не имеют понятия о частных уроках. Какая блажь! Чтобы учиться – на это существуют прекрасные бесплатные коммунальные школы и великолепные лицеи. Какой же дурак будет выбрасывать деньги на частных учителей.

Объяснить им, что он пишет научные статьи и привык их обдумывать на ходу, да еще на очень резвом ходу. Между тем как на чердаке не очень-то разбегаешься?

Но они опять поднимут плечи до ушей и возразят:

– Alors!.. Наши инженеры сидят в своих ателье и думают определенное число часов в день. То же делают в своих бюро ученые, поэты, купцы, адвокаты. И все они думают обязательно сидя. Никто из них не позволит себе ради размышлений бегать по улицам, а если некоторые и допускают себя до подобного легкомыслия, то они сами виноваты, если их дают автомобили. Улица не для философов и ротозеев, а для пешеходов. Вуаля ту⁵.

«А ведь они правы», – думает с кротостью профессор. Он сам иногда переходит через улицу, позабыв обо всем на свете, кроме течения своих мыслей, и, когда над его ухом рявкнет оглушительно автомобиль, он так и затрепыхается от испуга и обольется холодным потом. Шофер, объезжая, поливает его черной руганью, а сердце потом колотится долго-долго.

II

Уроки и статьи в обрез обеспечивают его аскетическое существование, но для кафедры Симонов уже пропал. Он не потерял своего славного имени, но как бы растратил, расточил, размотал его. Пять-шесть старых коллег еще помнят его блестящие лекции в Москве на естественном факультете и в Петровско-Разумовской академии, по физике, органической химии и дендрологии.

У него были все возможности для того, чтобы стать звездой в ученном мире, но он не успел ни создать своей школы, ни написать хоть одной строго научной книги. Карьера его сникла и оборвалась по четырем причинам или, вернее, по четырем отрицательным свойствам ума и характера. Он не обладал настойчивостью в работе мелочей. Он был лишен профессионального честолюбия. Он был неуживчив вследствие своей прямолинейности и гордости. Он

не мог утолить своей яростной неутомимой жажды знания одним предметом или дисциплиной, он хотел знать все, что доступно человеческим умам, и даже больше.

Быстро загораясь и так же быстро охладевая, – о чем только он не писал замечательных докладов и прекрасных популярных статей. Где только он не читал образцовых по красоте и образности лекций. Каких только служб и профессий он не переменил, исколесив всю Россию от Владивостока до Мурмана и от Архангельска до Баку. Кто-то назвал его Дон Жуаном науки. Но он был и ее Дон Кихотом.

У него можно было навести справки обо всяком предмете, явлении, имени, событии. Но ум его не был лишь механическим хранилищем, кладовой знаний. Симонов обладал большим даром синтетического прозрения. Часто он говорил или писал в случайных статьях о будущих завоеваниях науки. И когда, спустя десятки лет, его летучие догадки находили твердо обоснованное научное подтверждение, он говорил добродушно:

– Я бродяга. Я бросал своих детей голыми на больших дорогах и шел дальше. Мне приятно видеть их теперь большими мужчинами, с густыми бородами, в золотых очках. Но родительской нежности к ним я не чувствую: любовь была слишком пылка и слишком скоропреходяща.

В 1885 году, исходя от греческих философов, он носился с теорией относительности. В 1889 году он доказывал, что человеческий мозг – электрическая батарея, непрерывно посылающая в пространство вибрирующие волны, которые, утверждал он, в недалеком будущем будут улавливаться особо чуткими приборами. В 1893 году, будучи лесным ревизором Рязанской губернии, он вычерчивал и вычислял построение биплана со взрывным нитроглицериновым мотором. В 1901 году он разрабатывал проект аппарата, переносящего на расстояние зрительные изображения. В 1907 году он напечатал в одном английском ревью парадоксальную статью: о кажущемся беспорядке в строении видимого звездного мира, а также толкованиях апокалипсиса и тому подобное.

Профессор живет почти один. Когда-то была жена, были две дочери, был хоть и походный, как скиния, но любимый дом... И все это пошло, поехало кувыркком... Не стоит о прошлом... Рана давно отболела. Остался в душе толстый, грубый рубец, который, подобно старческому ревматизму в непогоду или пулевым ранам, дает о себе знать изредка, в бессонную ночь, когда всякие глупости лезут в голову.

Но все-таки он не так уж безнадежно одинок. Два года назад,

зимою, дождливыми полусумерками, к нему в открытое окно пробрался с крыши полудикий кот – черный, длинный, худой, наглый, – настоящий парижский апаш кошачьей породы. Никогда еще в своей жизни не видал Симонов ни человека, ни животного, которые носили бы на себе такое несчетное количество следов бывших отчаянных драк.

Кот требовательно мяукал, распяливая свой рот в узкий ромб, яростно блестя пронзительными зелеными глазами, судорожно царапая когтищами край подоконника. Профессор поставил ему на стол блюдечко скисшего молока с хлебом и остатком жареной грудинки. Кот поел, муркнул что-то вроде небрежного «спасибо» и в один прыжок очутился снова на крыше.

На другой день он пришел днем. И не только погостил около часа; даже, с нескрываемой брезгливостью, позволил слегка себя погладить. Потом зачастил. По целым дням спал, как собака, на голом полу, а вечером исчезал по своим темным и опасным делам.

Порою он не показывался по неделям и тогда приходил сильно потрепанным, часто хромым, с новыми шрамами, с разорванным надвое ухом. Симонов звал его Пятницей, и часто по ночам, когда наверху грохотала железная крыша и неслись к небу раздирающие кошачьи вопли, он думал: «Это мой Вандреди⁶ там воюет».

Пожалуй, их отношения можно было бы назвать дружбой. В дружбе один всегда смотрит хоть чуть-чуть сверху вниз, а другой снизу вверх. Один покровительствует, другой предан. Один великодушно принимает, другой радостно дает. Первым был, конечно, кот. Это он нашел профессора, а не профессор его. В области перемещения в трех измерениях кот был несравненно щедрее одарен природою, чем профессор. Профессор уже устал от жизни, хотя продолжал любить и благословлять ее, – кот жил всей кипучестью одичавших страстей: любовью, драками, воровством, убийством. Кот знал и умел делать тысячу вещей, которые были совсем недоступны профессору.

Разве мог бы профессор поймать зубами хоть самого маленького мышонка. А кот однажды утром притащил в мансарду пойманную и задавленную им на улице огромную рыжую крысу, из тех злобных чудовищ, что живут в водосточных каналах и никого не боятся. Когда профессор otvorил ему окно, он со стола бросил прямо на пол, к ногам слабого человека, труп побежденного врага. И столько было силы в черной окровавленной морде, столько гордости в глазах, то расширившихся, то сжимавшихся от волнения, что Симонов совершенно серьезно шаркнул ножкой и сказал:

– Очень вам благодарен.

По происхождению своему кот был гораздо древнее профессора, чему есть неопровержимое доказательство в первой главе Библии. Кроме того, род кота был еще и знатнее: в те седые времена, когда предки его почитались, как священные животные, великим и мудрым народом, – прапрашур профессора дрожал, голый, в пещере, слышал гром с неба и впервые, в потугах корявой фантазии, придумывал себе бога.

Иногда человек и зверь подолгу глядели в глаза друг другу: человек первый уступал перед суровым, пристальным, как будто бы видящим сквозь материю и время взором. Тогда и кот лениво сощуривал зеленые глаза и сокращал круглые черные зрачки в узенькие щелочки. Разве он унизился бы до борьбы с профессором взглядами. Он просто показал зазнавшемуся человеку его место во вселенной и сделал это со спокойным достоинством.

Но бывали изредка и минуты равенства, даже некоторого преобладания человека над зверем. Это случалось в душные вечера пред ночной грозой, когда неподвижные, набухающие облака свинцовые и чернеют и воздух сухо пахнет, как при ударе кремня о кремь.

В такие дни кот приходил рано, возбужденный, тревожный, пересыщенный накопившимся в нем электричеством. Он то ложился, то вставал и бродил по темным углам, выпускал и прятал когти, кончик его облезлого хвоста коротко и нервно вздрагивал. А если профессор слегка проводил рукою по его спине, то вздыбленный мех трещал и сыпал голубые искры, пахнувшие морским ветром. Тогда жалостно тыкался кот носом в профессоровы колени и беззвучно мяукал, широко и умильно раскрывая рот. Здесь человек пересиливал зверя.

Иногда, во время прогулок по Булонскому лесу, Симонов замечал Пятницу где-нибудь в траве, за деревом, между кустами: вероятно, здесь были места его охоты за лесными мышками, птенцами и, ночью, за спящими птицами. Конечно, кот успевал увидеть профессора еще раньше, но, должно быть, под открытым небом он стыдился признаваться в своем знакомстве с ним.

Был у Симонова еще один приятель – пожилой художник, бывший когда-то его слушателем в Петровской академии. С ним вместе они, случилось, ходили по воскресеньям в обжорку на Ваграме, а иногда, утром или вечером, бродили по «Буа-де-Булонскому лесу», как называл его художник. Бродили и разговаривали. Профессор описывал вслух красоту природы, – художник помалкивал и посвистывал. Но когда живописец яро пускался в философию и политику –

профессор молча отмахивался рукой.

III

Вчера, возвращаясь домой, профессор Симонов видел, как далеко за черными деревьями и кустами Булонского леса пламенели и тлели красные угли вечерней зари, а над лесом, по правую руку от Симонова, стоял серебряный обрезающий молодой месяц.

«Месяц ясный, небо чистое, заря рдяная – значит, завтра будет ветер», – подумал профессор и, вынув из жилетного кармана франк, показал его заново отчищенному, блестящему серпику... Новая луна приходилась справа: к прибыли.

У него вовсе не было предрассудков, но он любил всякие старинные обычаи и привычки – пусть даже и вздорные, – как крепкое утверждение простого и полного быта. Он говорил иногда, что приметы идут впереди точного знания, а наука о душе – позади суеверия.

И правда, сегодня дует сильный северо-западный ветер. Отворив рано утром окно, чтобы выпустить черного кота, случайного ночлежника, на волю, Симонов увидел, как широко раскачиваются на той стороне улицы вершины диких платанов, и ясно почувствовал отдаленный, еле уловимый, кислородный, волшебный запах океана. Жаль, что нельзя выходить из дома так рано, как хочешь. Это запрещено по неписаному договору с консьержкой, которая, кстати сказать, всегда услужлива и любезна с русским чердачным жильцом. Но однажды в разговоре с ней она как-то вскользь сказала:

– О мсье, мы не жалуемся на то, что нам, консьержкам, приходится отворять на звонки до глубокой ночи. Alors! Это маленькое неудобство нашей профессии. Но в утренние часы, так от трех до семи, – мой самый сладкий сон, и я очень огорчаюсь, если меня в это время беспокоят по пустякам.

Часов у профессора не было, то есть была старинная золотая луковица, но она временно гостила в другом месте и, несомненно, в дурном обществе. Профессор хорошо обходился и без часов, своими собственными отметами времени. Он знал, что в три часа хриплыми, мокрыми со сна голосами перекликнутся петухи, которых очень много водится во дворах просторного, провинциального Passy. Позднее, перед рассветом, начнут около домов чокать и по-свистывать черные дрозды; с восходом солнца они улетят в лес и в скверы. В шесть – опять закричат, навстречу солнцу, уже совсем проснувшиеся, свежие, бодрые петухи. В шесть с четвертью пронесется, потрясая почву, первый поезд окружной дороги. В половине

седьмого приедут мусорщики на длинном грузовике с железной полуцилиндрической крышкой. Забирая из выставленных на улицу ящиков и ведер всякую грязную дрянь, накопившуюся за сутки, они будут сипло и непонятно ругаться по-овернски и по-итальянски. В семь без четверти донесется издали низкий, протяжный, трубный звук, и его тотчас же подхватит многое множество разноголосых гудков и свистков. Это фабрики и заводы кричат рабочим: «Скорее! Скорее! Через контрольную будку! А то пропадет полдня и половина заработка». Они повоюют с полминуты и умолкнут. Наступит последний промежуток легкой и короткой тишины.

Профессор поднялся, всунул руки в крылья своей серой разлетайки, надел шляпу со свисающими, как у рыболовов, полями и стал ждать того странного момента, который на него всегда производил впечатление жестокого и могучего чуда и который можно наблюдать ежедневно только из немногих окраин Парижа.

Сейчас ему казалось, что Париж набирает в грудь воздух, собирает мускулы, как гонец перед дальним бегом...

И вот вдруг огромный город, точно двинутый электрическим толчком, вышел мгновенно из утреннего оцепенения, раздохнулся и сразу весь вылился из домов на улицы, наполнив их тем сплошным, ни на секунду не прекращающимся гулом, который, привычно неслышимый для ушей, целый день висит над Парижем, так же как целую ночь стоит над ним в небе красно-желтое зарево от электрических огней; смешанным гулом, слитым из рева вздохов, стонов и трескотни автомобилей, грохота телег и грузовиков, стука лошадиных подков, шарканья ног, звонков и завываний трамваев, множества человеческих голосов...

– Загорчал апокалипсический зверь, – сказал вслух профессор и стал спускаться по винтовой лестнице «для прислуги».

IV

По бульварам и улицам уже бежали девушки из молочных в белых передниках с раздутыми пышными рукавами, прихваченными в запястье кожаными браслетами. На каждой руке, на каждом пальце у них были нанизаны металлические дужки молочных бутылок; жидкое мелодичное позвякивание наполняло весь квартал. Ветер трепал и путал волосы над свежими, только что вымытыми розовыми личиками молочниц, и, глядя на них, профессор с удовольствием думал: «Как милы, как четки, как хороши люди в ясное утро, на воздухе... Это, вероятно, потому, что они еще не начали лгать, обманывать, притворяться и злобствовать. Они еще покамест немного

сродни детям, зверям и растениям. Да, это славная истина: не потеряет тот, кто рано и в должный час выйдет из дома. И какой сладкой прохладой тянет из Булонского леса».

Симонов делал свои ежедневные скромные покупки. Купил хлеба в булочной на площади Ля-Мюетт (бонжур, мсье, да-ам), пшена, муки и соли в бакалейной (За ва? – За ва!¹⁷), четверть кило свиной грудины («Какой прекрасный день!» – «Но ветер». – «Вы, французы, всегда недовольны погодой. Ветер очищает воздух!»), зашел в мясную купить для Пятницы на пятьдесят сантимов бараньей печенки (Тужур промнэ, мсье?) и тотчас же, глядя на патрона, толстого, крепкого, полнокровного брюнета с малиновыми щеками, подумал: «А ведь это замечательно, что во всем мире самый цветущий вид у мясников, у колбасниц и у служащих на бойнях. Должно быть, это от постоянного вдыхания испарений здорового мяса, сала и крови. Будь я доктором, я вместо всяких вонючих пилюль и модных курортов посылал бы малокровных пациентов, этак на год, на службу в колбасную лавку».

Теперь фуражировка окончена; кот и человек обеспечены едою на сутки; расход не превысил четырех франков; следует идти домой, заваривать чай.

Но, не доходя четырех домов до конца улицы Renelagh, профессор вдруг останавливается, уткнувшись носом и рыжим клином бороды в железную решетку, ограждающую от улицы чей-то палисадник, прилипает к одному месту и так стоит неподвижно целых десять минут, с длинным хлебом под мышкой. Он немного затрудняет деловое, торопливое движение пешеходов на узком тротуаре, но к его странностям давно уже привыкли в этом квартале: кое-кто, проходя, пожмет плечами, растопыривши локти, другой, весело прищуривав один глаз, кивнет головою, женщина пройдет и раза два неодобрительно обернется назад.

Между черным кружком решетки и столбом газового фонаря, всего на пространстве трех-четырех квадратных вершков, паук сплел свою воздушную западню, и от нее-то не может оторваться профессор, забывший в эти минуты о времени, о месте, о чае, который надо кипятить, и о коте, которого надо кормить.

Это плетение из тончайших в мире нитей представляет собою прелестную спираль, перетянутую расходящимися от центра радиусами, прочно укрепленными в местах соединений. Радужным бисерным сиянием отсвечивают на солнце почти невидимые нити. Наклонишь голову налево – радуги побегут вправо; наклонишь направо – они закружатся влево, блестя и ломаясь углами на пере-